

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Лес. Психологический этюд (Уральские рассказы)

Впервые под названием «Фомич» рассказ напечатан в журнале «Де-ло», январь, 1887 г., за подписью «Д. Сибиряк». Автор неоднократно менял наименование рассказа. Как свидетельствует небольшой отрывок ранней его рукописи (хранится в ЦГАЛИ), первоначальное название про-изведения было «На Мочге». Здесь же хранится отрывок рукописи под заглавием «В лесу». На первом листе рукописи: «Дмитрий Наркисович Ма-мин. Москва. Тверской бульвар, д. Ланской». Рукопись рассказа, назван-ного «Лес», находится в Свердловском областном архиве. Заголовок «Лес» написан сверху, над зачеркнутым «В лесу». На первом листе почерком автора: «Дмитрий Наркисович Мамин. Москва, Тверской б., д. Ланской». В конце рукописи авторская пометка: «10 декабря 1886 г. Екатеринбург». При жизни писателя перепечатывался во всех изданиях «Уральских рассказов».

При подготовке четвертого издания (1905) была опущена пятая, заключительная, глава, в которой описывалась смерть Фомича.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы», издание четвертое, М., 1905, т. III.

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0015
III.....	.0027
IV.....	.0039

Приезжая на лето в Журавлевский завод, я прежде всего отправлялся к дьячку Фомичу, который жил рядом со мною, — обыкновенный ход был огородами: перемахнешь через низенькое «прясло» — и сейчас на территории Фомича. Здесь прежде всего бросалась в глаза старая, покосившаяся баня, вся испятнанная пулями и дробью, точно оспой. Особенно пострадали банные двери с нарисованным на них черным пятном, тем более что в трудную минуту Фомич выковыривал засевшие в две-, рях пули и пускал их снова в дело. Нужно сказать, что эта злополучная баня стояла как раз на меже с нашим садом, и пули Фомича свободно могли летать в чужой огород, но на это последнее обстоятельство как-то никто не обращал никакого внимания, тем более что Фомич на весь завод пользовался репутацией хорошего стрелка.

Избушка, в которой жил Фомич, стояла на высоком пригорке, так что своим огородом упиралась прямо в горную бойкую речку Журавлиху. Под крыльцом избы вечно выла го-

лодная собака, потому что Фомич имел очень оригинальный взгляд на питание.

— Чутье потеряет, — уверял он с самым серьезным видом. — От еды у собак нюх портится.

— Да ведь неприятно, когда у вас под самым ухом день и ночь воет голодная собака?..

— Известно: пес, ну и воет... Кормить его, так он еще пуще будет выть.

Меня всегда удивляла эта бессмысленная жестокость и какое-то полное бесчувствие. Часто по ночам вой голодной собаки будил соседей, и они бранили его, но из этого ничего не выходило: Фомич совсем не желал портить собачьего чутья. Конечно, при таком образе жизни собака издыхала через год, много через два — и Фомич заводил новую, причем кличка оставалась одна и та же: Лыско. Я помню целый ряд таких несчастных Лысок, которые надрывали мне душу своим воем. Единственное, что я мог сделать для них, — это потихоньку от Фомича кормить их. Здесь необходимо заметить еще то, что все эти Лыски принадлежали к замечательной породе вогульских собак, которые в Среднем Урале

очень ценятся всеми «ясашными» (здесь так называют охотников, от «ясака» — подать мехами). Заводские мастеровые платят за хорошую собаку рублей пятнадцать — двадцать, что по местному денежному курсу очень дорого. По внешнему виду такая собака походит на эскимосскую: уши торчат пнем, острая морда, живые глаза, хвост загнут на спину кольцом, широкая грудь и тонкие, сильные ноги. Большинство таких вогулок пестрые, поэтому и распространенная кличка — Лыско. Особенно ценятся вогулки желтоватого цвета с желтыми пятнами на бровях или совсем серые, волчьего цвета.

— У которой пятно на брови — та и ночью видит, — уверял Фомич, а разубедить его в чем-нибудь было крайне трудно.

Такая вогулка действительно золотая собака для настоящего ясашного — чутье у ней поразительное, особенно на зверя. В Среднем Урале эти собаки ведутся от чусовских вогул, которые живут еще и теперь в двух деревушках на реке Чусовой — Бабенки и Копчик. Сколько мне известно, образованные уральские охотники совсем не обращают внима-

ния на эту замечательную собачью разновидность, которая погибает вместе с вымирающим вогульским племенем. Мне лично такие вогулки ужасно нравятся: они отличные сторожа, неутомимы на охоте за всяким зверем и чрезвычайно умны. Может быть, нужно было целую тысячу лет, чтобы создать этот тип охотничьей собаки.

Изба Фомича дощатой перегородкой делилась на две половины. В первой жил он сам, а во второй жена, которую он звал «матерёшкой», с единственной дочерью Енафой, курносой и рябой девушкой, «зачичеревевшей в девках». Комната Фомича выходила своим единственным окном, вечно заклеенным синей сахарной бумагой, в огород и на реку; из него открывался великолепный вид на извилистое течение Журавлихи, рассыпавшиеся по ее берегам дома, на лес и, главное, на «камышки», как называл Фомич горы. Налево от двери на стене висел небольшой деревянный шкаф, над ним кремневое ружье, у окна стоял некрашенный деревянный стол, около перегородки лавка, два колченогих стула — и только. Комната, собственно, была пуста, но

она мне нравилась именно потому, что в ней жил

Фомич. Эта бесприютная, непокрытая бедность выкупалась самим хозяином.

— Бувайте здоровеньки!.. — говорил Фомич, одинаково каждый раз здороваясь. Дома, зиму й лето, он ходил в коротенькой курточке из оленьей шкуры и в шапке из молодой оленины. Пестрядинные штаны были заправлены в голенища всегда худых сапогов. Этот странный наряд не казался странным для тех, кто знал Фомича. Нужно заметить, что по особенным гигиеническим соображениям он в своей оленьей шапке спал на печи зиму и лето. Когда я познакомился с ним, ему было уже за пятьдесят лет. Сгорбленный, худой, с неверной, шмыгавшей походкой, он превращался в типичного старозаветного дьячка, когда надевал единственный свой казинетовый подрясник, обвисавший на его сгорбленном теле некрасивыми, тощими складками; к довершению этого безобразия из-за высокого засаженного ворота подрясника появлялись на свет божий две жиденьких и коротких косички, болтавшиеся как два крысиных хвостика.

В обыкновенное время эти косички исчезали под оленьей шапкой. Всего замечательнее у Фомича было его некрасивое скуластое лицо с носом луковицею. Жиденьякая борода и такие же усы какого-то песочного цвета не могли скрасить этого лица. Зато хороши были у Фомича его небольшие серые глаза с узкими зрачками. Он имел характерную привычку смотреть куда-нибудь в сторону и только время от времени взглядывал на вас быстрым, открытым, пронизательным взглядом, как смотрят немножко тронутые русские люди.

Собственно, в Фомиче, как это нередко случается на Руси, жило два человека: один — приниженный, жалкий и льстивый, а другой — самостоятельный, гордый и оригинальный. Первого человека Фомич точно надевал на себя вместе с подрясником. Таким он был на клиросе, где читал «бормотком» и пел разбитым голосом вместе с писарем Павлином; таким он был, когда попадал куда-нибудь в компанию бойких заводских служащих, таким он ходил по заводу за попом с разными требами, таким, наконец, он пробирался каждое воскресенье прямо из церкви в кабак к

своей приятельнице Зайчихе «подковать безногого щенка». Длинные руки, видимо, мешали Фомичу, и он постоянно ими запахивал расползавшиеся полы своего подрясника. Даже ходил он как-то крадучись и все старался пробраться где-нибудь огородами, чтобы не на виду у добрых людей; в разговоре улыбался заискивающей улыбкой и вообще держал себя льстиво-униженно.

Дома Фомич был другим человеком. Я много лет знал его и все-таки с удивлением наблюдал это превращение, — решительно другой человек. Впрочем, из своего приниженного состояния Фомич выходил и при людях, когда выпивал лишнюю рюмочку или когда разговор заходил об охоте. Охотничьи рассказы Фомича пользовались большой популярностью, и где-нибудь на именинах около него всегда собирался кружок слушателей. Любимой темой были «олешки» и «мишка», причем Фомич умел представить все в лицах: нюхал воздух, как зверь, таращил глаза и делал уморительные прыжки в своем странном подряснике. Но в гостях Фомич пересаливал и дома был не тем, чем казался посторонним

людям. Во-первых, это был замечательный оригинал и чрезвычайно наблюдательный человек, которого никогда не оставляло неизменное добродушно-мористическое настроение. Ко всем и ко всему Фомич относился свысока, но эту гордость он позволял себе только дома.

Он умел над всеми посмеяться умненько и тонко, иногда одной гримасой. Чужие слабости и особенно глупость доставляли ему даже какое-то удовольствие, и он имел некоторое право смотреть на многих свысока, потому что обладал сильным природным умом, которого не могло сломить даже дьячковское существование, несчастнейшее из всех, изобретенных добрыми людьми.

К своим семейным Фомич относился тоже особенным образом, точно стыдился своей человеческой слабости. Его «матерёшка» никогда не показывалась при людях из-за перегородки, и только слышно было, как она чем-то вечно стучала за печкой. К женщинам Фомич питал чисто философское презрение, как к предмету недостойному, притом очень вредному и даже опасному. Когда писарь Павлин

заводил речь о «женском поле», Фомич только фукал носом, как рассерженный старый кот, и отплевывался. Рассказывали, что он не доверял жене ни в чем и даже хлеб пек собственными руками.

Во всем доме Фомича была единственная сколько-нибудь ценная вещь — это кремневая малокалиберная винтовка, служившая ему более тридцати лет. Тяжелая березовая ложа была собственного изделия Фомича и отличалась хозяйственной прочностью. Замечательнее всего то, что Фомич из этой винтовки стрелял и зверя, и птицу, и белку.

— Откуда у вас это ружье? — несколько раз спрашивал я старика, рассматривая его самопал.

— Так... от одного человека.

К числу особенностей Фомича принадлежала необыкновенная таинственность, особенно когда дело касалось охоты. На свое ружье он смотрел как на что-то живое и, когда делал из него промах, обвинял не себя, а то, что «дурит» ружье. Больше всего на свете Фомич боялся, как бы к его сокровищу не прикоснулась какая-нибудь женщина: тогда бро-

сай все и заводи новое.

— Я из него не один десяток олешек загубил, — любил похвастаться Фомич под пьяную руку. — Оно хозяина знает... да!

Трофеи охотничьих побед Фомича заключались в оленьих шкурах, которые служили всей семье как ковры и одеяла. Выделывал их Фомич сам, равно как и беличьи и куньи шкурки, хотя, нужно отдать ему полную справедливость, выделывал очень скверно. Впрочем, для своего домашнего обихода Фомич все сделал сам: и ложу к ружью, и лыжи, и лядунку[1] для пороха, и памятный мне деревянный шкаф с охотничьим снарядам, и мебель, и мережи, и свою оленью куртку. В лесу у него всегда было надрано лыко и заготовлены дрова. Только при таком самоделье Фомич и мог сводить концы с концами, потому что прожить на три рубля причетничьего жалованья, с семьей на руках, дело решительно невозможное. Посторонних церковных доходов Фомич получал такую гомеопатическую дозу, о которой не стоит и говорить. Журавлевский завод наполовину состоял из раскольников, и приход был очень плох.

Несколько раз Фомичу предлагали занять место дьякона, но он упорно отказывался.

— Отчего вы не хотите в самом деле быть дьяконом? — спрашивал я. — Дьякон вдвое больше получает.

— А «матерёшка» умрет?.. Дьякону во второй раз жениться нельзя...

Это была, конечно, шутка. Фомич не шел во дьяконы по той простой причине, что тогда потерял бы право ходить на охоту, другими словами — его жизнь утратила бы всякий смысл, а теперь получалось из Лыски, Енафы, матерёшки и самого Фомича вполне законченное, органическое целое.

Самое лучшее время на горных уральских заводах — это «страда». С петрова дня до самого успенья производство закрывается, кроме доменных печей, и все население уезжает и уходит на покосы. Если нет своей скотины, «страдают» для продажи, а если нет своих покосов — нанимаются к другим. Заводы пустеют, а зато оживают все окрестности и самые глухие лесные уголки. Лошадь и корова — главные хозяйственные статьи заводского мастерства, и поэтому на сене сосредоточены в это время все его помыслы. Хлебопашество на заводах существует, но в очень небольших размерах: и земля большею частью «неродимая», да и народ отвык от настоящей крестьянской работы. Мы говорим о большинстве горных заводов, хотя есть и исключения, как в заводских округах башкирской полосы.

На Журавлевском заводе пашни были человек у десяти, не больше, а для остальных слово «страда» ограничивалось заготовкою сена. После тяжелой «огненной» и приисковой работы сенокос являлся желанным отды-

хом, и всякая мало-мальски справная семья в полном своем составе перекочевывала на покосы. Нужно было видеть, как «горит работа» у вырвавшегося на свежий воздух народа—это настоящий праздник, и по вечерам на десятки верст несутся веселые песни. Цыганская обстановка сенокоса для молодежи является самым счастливым временем, и в результате получают осенние свадьбы или же специальные несчастья, которым особенно подвержена «извольничавшаяся» заводская девка. Нравы заводского населения, как известно, не отличаются особенным целомудрием вообще, а на Урале они поражают своей разнузданностью.

Эта заводская страда совпадает как раз с охотничьим сезоном; пока не поспели выводки, идет охота на «линялых» косачей, которые в это время прячутся по самым неприступным чащам и трущобам, меняя весеннее брачное оперение на обыкновенное затрапезное, а с наступлением июльских жаров начинается охота на оленей, которых днем овода загоняют в густые заросли или прямо в воду. В это горячее время мы с писарем Павлином

уходили в горы на несколько ночей и бродили по лесу, как настоящие дикари. Окрестности Журавлевского завода представляли в этом отношении все необходимые условия, начиная с того, что в одну сторону до ближайшего жилья было сорок верст, а в другую больше ста верст тянулись горы и лес, лес и горы. Места в общем были порядочно дикие, но они скрашивались необыкновенным изобилием живой текучей воды, сбегавшей с гор десятками горных бойких речек и речонков. Кроме того, недалеко было одно большое горное озеро со множеством островов и еще два маленьких озерка. Выходила настоящая живая сеть, которая охватывала собою все горы и привлекала массу всевозможной дичи.

Бродить с ружьем по целым дням в этой зеленой пустыне — наслаждение, известное одним охотникам. Встанешь с ранней зарей и к вечеру так уходишься, что едва доберешься до первой знакомой избушки. Любимым местом была избушка Фомича на горе Размет, до которой от завода было верных семнадцать — восемнадцать верст. Замечательное это место Размет — собственно, так называлась и самая

гора и прилежавшие к ней другие горы, горки, косогоры и увалы. Получался горный узел, которого гора Размет являлась связующим центром и горным водоразделом: в сторону Журавлевского завода сбегались речки европейского бассейна, а в противоположную — азиатского. Водораздельная линия проходила узкой, извилистой полосой, иногда достигавшей всего нескольких десятков сажен, как было, между прочим, у лесной избушки Фомича. Таким образом, нам часто случалось ночевать на самой границе между Европой и Азией.

В один из отличных июльских дней, когда, по всем признакам, погода установилась прочно, мы с писарем Павлином забрались в горы очень далеко. Охота вышла не особенно удачна, и к концу дня мы едва имели в запасе одного косача. Кроме того, Павлин уронил хлеб в воду, так что нам предстояло лечь с голодным желудком. Это было далеко за Разметом.

— Придется идти к Фомичу, — говорил я, когда до заката оставалось всего часа два, значит, нужно было торопиться.

— Я не пойду, — упрямылся Павлин, растянувшись на земле пластом.

— А я пойду.

— Скатертью дорога.

Произошла небольшая размолвка, закончившаяся тем, что Павлин, наконец, поплелся за мной, — оставаться одному в глухом лесу было не особенно приятно, а до балагана Фомича было около десяти верст. Писарь Павлин — небольшой человек, с большой кудрявой головой — принадлежал к самым безобидным людям, но на него иногда накатывалось совершенно беспричинное упрямство. Ничего не оставалось, как воевать с ним тем же оружием, тем более что по ночам в лесу Павлин боялся не зверя или человека, а «лешака» или «лешачихи», которые проделывают над людьми всевозможные пакости. Павлин посвоему был даже начитанный человек, но освободиться от разной чертовщины был решительно не в силах.

Признаться сказать, идти десять верст на Размет после целого дня утомительной охоты было делом нелегким, и на меня не один раз нападало свойственное в таких случаях мало-

душие. Каждая хорошая ель, открытый берег речки или укромный уголок где-нибудь под скалой так и манил отдохнуть, но прежде всего нужно было выдержать характер и поддержать авторитет пред ослабевшим товарищем.

Солнце быстро опускалось. Лес темнел. Маленькая горная тропинка делала, по-видимому, совершенно ненужные повороты и кривулины, точно для того только, чтобы помучить нас. Солнечный закат в горах удивительно красив. Тени нарастают, и со всех сторон, точно сознательно, будто живая, начинает двигаться на вас ночная глухая мгла. Затихший воздух чутко держит каждый шорох, и в параллель с этим ваши собственные чувства получают какое-то болезненное напряжение, — именно в такие переходные моменты дня больше всего и «блуждает»[2] непривычному человеку. Ухо, еще полное дневного шума, слышит несуществующие звуки, а глаз отчетливо видит в перебегающих и колеблющихся тенях создания собственного воображения. Вообще переживаешь неопределенно тревожное настроение, которое в каждый момент готово перейти в детскую панику. Только такие

«лесники», как Фомич, сживаются с таинственной жизнью леса настолько, что их ничто не в состоянии напугать. Как хотите, но в лесу голова работает совсем не так, как у себя дома, и прежде всего здесь поражает вас непривычная лесная тишина, которая дает полный разгул воображению, точно идешь по какому-то заколдованному царству. Днем эта тишина нарушается ветром и птицами, а ночью вы окончательно предоставлены самому себе и невольно прислушиваетесь уже к тому, что незримо хранится в глубине вгшей души. Выплывают смутные образы, неясные лица, звуки и краски.

Павлин покорно плелся за мной и, вероятно, для храбрости, несколько раз принимался ругаться, просто так ругаться, в воздушное пространство, не относясь лично ни к кому и ни к чему. В одном месте, спустившись в глубокий лог, где было уже совсем темно, Павлин остановился и заявил самым решительным образом:

— Мы не туда идем...

Спорить с ним не стоило, и я продолжал идти вперед. Действительно, начинало ка-

заться, что место как будто не то: и лес другой и дорожка делала совсем ненужные повороты. Являлось серьезное сомнение, что мы сбились с дороги, так как и по времени должны были быть уже на месте. Крутой подъем, который начинался прямо от лога, походил на Размет, но кругом было так много гор и все подъемы на них по извилистым горным тропинкам так похожи один на другой. Наступившая ночная свежесть придавала нам силы; солнце уже закатилось, и мимолетные горные сумерки сейчас же сменились ночью, холодной и туманной, какие бывают только в горах. Показались первые звездочки, теплившиеся в бездонной глубине фосфорическим светом, как светляки в траве; выплыл молодой месяц, пустивший широкую и туманную полосу переливавшегося серебристого света. На полугоре мы остановились отдохнуть. Должна была показаться поворотка к избушке Фомича, но ее не было. Из-за леса трудно было рассмотреть другие горы, чтобы ориентироваться, ночью горная панорама имеет совсем другой вид, чем днем. По упорному молчанию Павлина я видел, что он окончательно

убежден в нашем «плутании» и что это совсем не Размет.

— Действительно, кажется, мы того... взяли немножко в сторону, — заговорил я, сознавая свою невольную вину. — Облевили, должно быть.

Огорченный Павлин не удостоил меня ответом и только сердито пыхнул своей папирсой: дескать, я говорил и т. д. Но в это время где-то, точно под землей, слышался собачий лай — и сразу все изменилось: да, это был Размет, сейчас повертка к Фомичу, а лает его Лыско...

— Слышишь? — торжествующе спрашивал я Павлина.

— Чего слышать-то?.. Лыско лает... Вот она, береза-развилашка стоит у поворотки. Слепой дойдет...

— Однако признайся...

— Нечего мне признаваться... Может, я сто раз здесь бывал, а только в сумерки всегда глаза отводит в лесу — уж это верно. Однова я так-то цельную ночь проходил по покосам: прямо в трех соснах заблудился.

Мы весело повернули с тропинки и побрели прямо сакмой, то есть легким следом, который остается в траве.

Скоро оакма повела нас по лиственничному лесу — значит, сейчас будет избушка. Напахнуло дымком, лай Лыски повторился, но с теми нерешительными нотами, которые свидетельствовали о его сомнениях: по уверенным шагам собака начинала догадываться, что идут свои знакомые люди. Только охотники могут различить эти разнообразнейшие оттенки собачьего лая, который именно в лесу имеет свою оригинальную прелесть.

Избушка Фомича была поставлена на открытой поляне. Теперь избушку Фомича выдавала тянувшаяся струйка дыма и колебавшаяся полоса красноватого света, падавшая на ближайшие деревья от костра. Мы уже выходили на самую поляну, где трава стояла до самых плеч, как Павлин вдруг остановился, точно его чем ударили, — он шел впереди, и ему было видно, что делается перед избушкой.

— Что случилось? — окликнул я.

— Должно быть, опять поблазнило... —

бормотал Павлин и даже протер глаза". — Вот так штука!.. Уж идти ли нам?.. Эх-ма!..

Изумление Павлина объяснялось очень просто: у избушки стоял сам Фомич и зорко смотрел в нашу сторону, а около огня на короточках виднелась какая-то женская фигура — эта последняя и смутила Павлина. Фомич в глухом лесу и с глазу на глаз с какой-то бабой... Лыско с оглушительным лаем летел уже к нам, нужно было обороняться прикладами, потому что в азарте он мог не узнать и вцепиться.

— Мир на стану! — кричал Павлин, подходя к избушке.

— Вишь, полуношники... — проворчал Фомич, здороваясь. — А я думал, уж не бродяги ли какие.

Женщина продолжала сидеть около огня по-прежнему неподвижно, и мне бросилась в глаза только ее покрытая голова с белокурыми кудрявыми волосами. Она сосредоточенно помешивала деревянной ложкой какое-то варево в болтавшемся над огнем железном котелке и не желала обращать на нас никакого внимания.

— Да ведь это Параша Кудрявая!.. — с удивлением вскричал Павлин. — Вот напугала-то... Ах, ты, ешь тебя мухи с комарами!.. Ну, здравствуй, красавица...

— Была Параша, да чужая, не ваша... — ответила свежим, низкого тембра голосом красавица и все-таки не двинулась с места.

— А ты не сердись, — умница... Нет, как ты напугала-то, Параша, да еще и на грех навела.

— Отстань, смола! — сердито окликнул его Фомич.

Избушка Фомича былаі сделана из толстых
лиственннчіных бревен, почти совсем
вросла в землю; из высокой травы горбилась
одна крыша, покрытая дерном. Маленькая
дверка придавала ей вид дрянного погреба.
Зато кругом горная трава росла в рост челове-
ка: тут была и «медвежья дудка», чуть не в ру-
ку толщиной, с белыми шапками цветов, и
красноголовые стрелки иван-чая, и души-
стый лабазник, и просто крапива. Летом это
был прелестный, совсем потонувший в зеле-
ни уголок, но как жил здесь Фомич зимой по
целым неделям — я не мог понять. Внутри из-
бушка еще сильнее походила на погреб, да и
сырость здесь вечно стояла невыносимая.
Задняя половина была занята широкими на-
рами, налево от дверей, в углу, стояла печь,
сложенная из камней. Трубы не полагалось,
поэтому весь дым скоплялся в избушке. В хо-
лодные ночи спать в ней было сущим адом:
дым ест глаза, дышать нечем, да еще настоя-
щая банная температура. Однако сам Фомич,
обремененный вечными недугами, и летом

спал в своей избушке.

Мы, конечно, остались на воздухе и, первым делом, принялись за чай. Пока происходили эти предварительные хлопоты, Параша продолжала сидеть неподвижно и, обняв колена руками, сосредоточенно смотрела в огонь.

— Чистая русалка!.. — шептал Павлин, указывая на нее глазами. — И волосы свои распустила, и сама не шевельнется. А Фомич-то как за нее вступился!.. Двое поврежденных сошлись!..

В лесу Павлин побаивался Фомича, потому что «черт его знает, чего ему взбредет в башку», а теперь Фомич, видимо, был не совсем доволен нашим присутствием, и это последнее обстоятельство заставляло Павлина снизойти до перешептывания. Действительно, Фомич в лесу являлся новым человеком, и можно было только удивляться этим превращениям: приниженный дьячок оставался дома, а здесь был характерный и строгий человек, который ни одного слова не бросит на ветер и не сделает шага напрасно. Ветхая рубашка из линючего ситца, пестрядинные

штаны, какие-то лохмотья из рыжего крестьянского сукна, на ногах громадные сапоги и неизменная шапка на голове оставались те же.

— Чаю хочешь, Параша? — предлагал Павлин, когда вскипевший жестяной чайник был уже снят с огня.

Этот вопрос на мгновение вывел дурочку из неподвижности, и она с каким-то удивлением посмотрела на всех нас, точно заметила наше присутствие только сейчас.

— Чаю?! — повторила она вопрос Павлина и сердито нахмурила брови. — Вон где чай-то, — прибавила она, мотнув головой на лес. — Кругом чай... и головками помахивает... желтенькие головки.

— У нас с тобой свой чай в лесу растет, — объяснил Фомич.

— Лабазник пьете?.. — спросил Павлин.

— Лабазник и еще одну травку прибавляем. Надо полоскать тепленьким кишки — вот и чай.

Параша уже не слушала нашего разговора и опять погрузилась в свое застывшее раздумье. Она упорно смотрела на перебегавшее

пламя и подбрасывала иногда новое полено. Ей было на вид лет сорок, может быть, больше. Полное, немного брюзгливое лицо со старческим румянцем на щеках еще сохраняло на себе следы молодой красоты. Большие, остановившиеся, серые глаза имели такое напряженное выражение, точно Параша не могла чего-то припомнить. Одета она была в синий раскольничий сарафан из домашней холстины, в белую рубашку и длинный ситцевый «запон»[3] с нагрудником — все это говорило о невидимой доброй руке, которая одевала «божьего человека», может быть, от своих кровных трудов, как особенно принято в раскольничьей среде, где потайная милостыня ценится выше всего.

После утомительного охотничьего дня сон буквально валил нас с ног. Павлин уже спал, свернувшись клубочком около огня и не докончив ужина; я дремал рядом с ним. Окружавший нашу поляну лес при месячном освещении казался гигантскими водорослями, а сверху теплился неизмеримо-глубокий, вечно подвижный и вечно живой звездный океан.

— Завтра рано вставать... — говорила Параша, поглядывая на небо.

— Куда торопиться-то? — ответил Фомич, набивая нос табаком.

— Нет, уж лучше... трава не ждет.

— Ну, ну... Надсадой не много возьмешь..:

Еще раз понюхав табаку, Фомич побрел своей расслабленной походкой в избушку, а Параша осталась у огня. Я скоро заснул и вскоре увидел себя на морском дне, в обществе сказочной девушки-чернавушки и царя водяного, а Павлин, с гусями в руках, пел необыкновенные песни, от которых все водяное царство колебалось, и меня охватывал мертвый холод морской бездны.

Параша Кудрявая принадлежала к числу тех дурочек, каких оставило после себя на уральских горных заводах крепостное право. Теперь этот тип вымирает вместе с крепостными дураками и разбойниками. Это знаменательный факт, который лучше всего характеризует существовавшие на заводах порядки.

О Параше ходила такая легенда. Родилась она на Журавлевском заводе и выросла в си-

ротстве, — отец был сдан в солдаты, а тогда солдатская служба равнялась тридцати пяти годам. Звали ее Дарьей. Так и жила солдатка с дочерью, черпая непокрытую ничем бедность и горе. Потом Даша подросла, выровнялась и стала красавицей писаной, какие попадаются только в смешанном заводском населении. И рослая, и высокая, и румянец во всю щеку, и тяжелая коса белокурых кудрей — одним словом, редкостная девка, а на такую приманку охотников всегда много. Присмотрела Даша себе и жениха, оставалось только сходить к заводскому приказчику на поклон и попросить разрешения на свадьбу. Увидел крепостной приказчик Дашу и заартачился: погоди, да не ходи, да некогда, да еще твое время не ушло! Пока дело таким образом тянулось, приказчик успел дать знать управляющему в другой главный завод, Чернореченский, где проживал тогда знаменитый в уральских летописях самодур-заводчик Тулумбасов, большой охотник до всяческого безобразия, а над своими крепостными в особенности.

Чернореченского завода все боялись как огня; Тулумбасов не знал ни совести, ни стра-

ха. По фабрикам он ходил с заряженными пистолетами и проделывал над рабочими невозможные зверства. За малейшую провинность отсылали на конюшню, откуда часто приносили наказанных на рогожке прямо в больницу. Громадный тулумбасовский дворец являлся для всех настоящим адом: тут шел вечный пир горой, тут же молились по потайным моленным раскольничьи старцы, тут же наказывали плетью и кошками и тут же проделывались невозможные безобразия над крепостными красавицами, которыми Тулумбасов угощал своих гостей. Благодаря угодливости журавлевского приказчика Даша и попала из своей сиротской лачуги прямо в тулумбасовский дворец. Необыкновенная красота ее обратила на себя внимание «самого», но Даша ответила на его ласки отчаянным сопротивлением — и была сведена на конюшню, откуда уже явилась тем, чем осталась на всю жизнь, то есть заводской дурочкой.

На Журавлевский завод Даша вернулась «божьем человеком» и зиму и лето ходила с непокрытой головой, изукрасив себя ленточками и цветными лоскутками. Мысль о любви

мом человеке превратилась в бред и галлюцинации. Она никого не обижала и часто пела те песни, которые вынесла из тулумбасовского дворца, где гремел крепостной хор. Особенно часто она пела свою любимую, от которой получила и прозвище «Параша»:

*Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай...*

Но иногда на нее нападал нехороший стих, и Параша затягивала неприличную песню: «Косарики-косари». Ребятишки ее дразнили женихами. Рассердившись, она, как все сумасшедшие, не знала никакого удержу: ругалась, дралась, кусалась и выкидывала самые неприличные штуки. Жила она как настоящая птица божия: где день, где ночь. Благочестивые люди считали за особенное счастье держать у себя Парашу, но она редко могла где-нибудь ужиться дольше недели.

— Нет, пойду к жениху!.. — повторяла она каждый раз, отправляясь неизвестно куда.

Как и зачем попала Параша Кудрявая на Размет и что она могла там делать — для меня оставалось загадкой, тем более что Фомич

был самым ярым женоненавистником.

Утром мы проснулись уже поздно, и около избушки не было ни Фомича, ни Параши Кудрявой. Павлин долго и аппетитно потягивался, зевал и продолжал лежать с закрытыми глазами, выжидая, не встану ли я первым — обыкновенная политика охотников. Нужно было развести огонь, сходить на ключик за водой и приготовить чай — операция вообще сложная — и напиться готового чаю всегда приятнее. Я тоже не желал поддаваться коварству приятеля и тоже некоторое время притворялся, спящим, пока обоим эта комедия не надоела, и мы поднялись разом.

— Вот что: один пойдет за дровами, а другой за водой, — iуговаривал Павлин, чтобы не переделывать на свой пай. — Этакий черт этот Фомич, нет, чтобы приготовить нам все... А Параша куда девалась?.. Настоящие оборотни, черт их возьми!

Было часов восемь, но солнце еще не успело подобрать росы, и трава стояла вся мокрая. Стоило сделать лишь несколько шагов, чтобы промокнуть до нитки, а такая холодная ванна сейчас после сна, когда тело еще полно сон-

ной теплоты, особенно неприятна.

— О-го-го! — гоготал Павлин, направляясь по сакме к ключику.

— Фомич на покосе, — говорил Павлин, когда мы кончили чай. — Тут у него сейчас под Разметом есть две еланки. По весне отличные тока бывают.

Когда трава пообсохла, мы двинулись в путь. От избушки вела свежая сакма прямо на увал Размета. Когда мы вышли из леса, открылась одна из тех чудных горных панорам, какие встречаются только на Урале. Каменистый гребень вершины Размета, казалось, стоял от нас в двадцати шагах, хотя до него было с полверсты, — так обманчива горная перспектива. Сейчас под ногами шел крутой спуск, усыпанный большими камнями и кой-где тронутый горной растительностью — елями, пихтами, низкорослыми березками. У подошвы ковром зеленел покос Фомича, и можно было рассмотреть две фигуры, медленно двигавшиеся по линии свежей кошенины. Они медленно раскачивались, очерчивая блестевшими на солнце косами широкие круги.

— Параша-то как работает... а! Вот так шту-

ка!.. — удивлялся Павлин, рассматривая в кулак косарей. — Ай да Фомич, какую работнику приспособил себе. Ах вы, оборотники проклятые, что придумали!..

Вся горная даль была еще подернута золотистым туманом, а по лугам лежала синеватая мгла — остаток таявшего на солнце тумана. Из-за Размета выглядывало углом широкое горное озеро, усеянное зелеными островами. Дальше теснились синие горы, где-то далеко-далеко на берегу речки желтым пятном выделялся небольшой прииск. В двух местах беловатыми струйками к самому небу поднимался дым от стоянок косарей или на старательских разведках. Журавлевский завод казался отсюда едва заметным пятном на берегу пруда. Но всего лучше был лес, выстилавший горы до самого верха и залегавший пологам дремучими ельниками.

— Эх, хорошо!.. — скажешь невольно, глядя на этот необъятный простор, едва тронутый двумя — тремя точками человеческого жилья.

Утром горы необыкновенно хороши, и невольно переживаешь такое бодрое и хоро-

шее чувство, забывая об усталости и всех невзгодах охотничьего бродяжничества. Голубое небо точно выше, и дышится так легко. На горизонте уже круглятся белые грозовые тучки, где-то зашептала в траве первая струйка поднявшегося ветра, в кустах весело чи-ликнула невидимая птичка. Стоишь, смотришь и, кажется, не ушел бы отсюда.

IV

Покос Фомича шел неправильной полосой по самому краю кончавшегося здесь горного ската. Дальше начинался дремучий ельник.

— Бог на помочь!.. — кричал Павлин, когда мы подходили к косарям.

Параша Кудрявая продолжала работать, не обращая на нас никакого внимания. Фомич остановился, чтобы понюхать табаку.

— Куда побрели? — заговорил он после отчаянной затяжки.

— А я домой... — отозвался Павлин, поглядывая на него. — Дело есть в волости. Вот только еще заверну в ельничек, за косачами...

Мы посидели, поболтали, и Павлин отправился восвояси, а я остался, — мне хотелось еще раз заночевать на Размете.

— Пустой человек!.. — коротко заметил Фомич, прислушиваясь к доносившемуся пению неугомонного Павлина.

— А что?..

— Да так... Несообразно себя ведет: идет по

лесу и хайлает. Разве это порядок?.. Вон Параша, и та понимает... Эй, Параша, будет тебе, передохни. Обедать пора!..

— Ну-у... — недовольно ответила Параша и принялась косить еще с большим азартом, так что коса-литовка у нее в руках только свистала.

— Как она к вам сюда попала? — спрашивал я.

— Она-то? А сама пришла. Потому чувствует себе пользу, — ну и пришла...

— От работы пользу?..

Фомич посмотрел на меня и ухмыльнулся самодовольно.

— Не от работы, а от лесу польза, — проговорил он после короткой паузы. — Вы с Павлином-то ходите по лесу, как слепые, а в нем премудрость скрыта: и травка, и цветик, и деревцо, и последняя былинка — везде премудрость.

— Какая же премудрость?

— А вот такая... Умные да ученые ходят, запинаются и не видят, а вот Параша чувствует.

Фомич последние слова проговорил обиженным и недовольным тоном, точно я оспа-

ривал его мысль. Подвернувшийся на глаза Лыско получил удар ногой и с визгом скрылся в траве.

— Зачем собаку бьешь? — крикнула Параша, переходя на другую полосу. — Очумел, старый черт!..

Эта выходка рассмешила Фомича, и он только тряхнул головой.

— Ступайте вон по ельнику прямо, — заговорил Фомич, — там пониже выпадет ключик, и как спустишься по ключику — попадет речка, а на ней старый прииск...

— Ягодный?..

— Он самый... Там есть косачи.

— Хорошо; я схожу...

— Да хорошенько заметьте прииск-то: любопытное местечко. Может, и я заверну...

Выкурив папиросу, я отправился по указанному направлению. В воздухе уже начал чувствоваться наливавшийся летний зной, а в глухом ельнике было так прохладно. Нога совсем тонула в мягком желтоватом мхе. Кой-где топорщился папоротник или попадался целый ковер из брусники, иногда кустики жимолости — и только.

Отыскался и ключик и речка Смородинка, на которой стоял заброшенный прииск Ягодный — таких Смородинок на Урале не один десяток, как приисков Ягодных и Белых гор. Картина заброшенного прииска всегда на меня производит тяжелое впечатление: давно ли здесь ключом была жизнь, а теперь все пусто и мертво кругом как в разоренном неприятелем городе. Забравшись на верх самой высокой свалки, я долго рассматривал развернувшуюся предо мной картину и по глубоким ямам выработок, по отвалам старых перемышек и обвалившимся канавкам старался восстановить картину недавнего прошлого. Вон по одну сторону темнеет черной впадиной Лаврушкин ложок, ближе — хрящеватый мысок с остатками развалившейся приисковой казармы, в глубине повитая сероватой дымкой угловатая вершина Размета. По течению Смородинки дремучий ельник был вырублен на целую версту, а теперь старая порубь быстро затягивалась свежей молодой зеленью, точно зарастала какаято широкая рана.

Да, этот старый вековой ельник еще оставался по бокам прииска и так сумрачно смот-

рел на весело катившуюся речку по каменистому, изрытому дну. Бойкая горная вода суетливо перебегала по камням и точно сосала глинистый размытый берег. Но где еще так недавно была одна разрытая земля, теперь весело росла самая свежая зелень, точно она сбежалась сюда со всех сторон, чтобы прикрыть резавшую глаза наготу. Глубокие выработки и разрезы, откуда добывался золотоносный пласт, теперь были залиты дождевой водой или поросли мягкой душистой травкой. По берегам этой воды жались друг к другу кусты смородины, вербы, ольхи и лесная малина; а зеленая, сочная осока зашла в самую воду, где блестела и гнулась под напором речной струи, как живая. Кой-где догнивали торчавшие из земли бревна, а из-под них уже вылезали молодые побеги жимолости; тут же качались розовые стрелки иван-чая и пестрели болотные желтые цветы. Около старых пней, как дорогое кружево, лепился своими желтыми шапками душистый лабазник. У самого леса вытянулся целый островок молодого осинника, переливаясь на солнце своей вечно подвижной, металлической листвой, а

дальше зеленой стеной поднимался березняк и по течению речки уходил из глаз. Но всего красивее были молодые ели и березки, которые росли по отвалам и свалкам: они походили на гурьбу детей, со всего размаха выбежавших на крутизну и отсюда любовавшихся всем, что было ниже. Казалось, что эта лесная молодежь лукаво шепталась между собой, счастливая солнечным днем и тем, что дает только полная сил молодость.

Такие зарастающие поруби замечательны своим внутренним характером, теми новыми комбинациями, какие складываются у нас на глазах. При некоторой живости воображения получается целая иллюзия, и все эти деревья, кусты и последняя травка освещаются глубоким внутренним светом. Так и кажется, что вот этот темный ельник, который обошел прииск со всех сторон зубчатой стеной, хмурится и негодует на неизвестных пришельцев, которые так весело разрослись на поруби, пришли бог знает откуда и расположились на чужом месте, как у себя дома. Действительно, все эти березняки и осинники являются какими-то лесными бродягами, кото-

рые с нахальством бросились на чужой кусок земли. Конечно, и от старого ельника пошла молодая поросль к реке, но ей трудно бороться с густыми зарослями осины и березы. Издали так и кажется, что сошлись две неприятельских армии, и можно определить даже линию самой сильной схватки, где дело пошло врукопашную: молодые ели и березки совсем перемешались и задорно напирают друг на друга.

Эта картина борьбы за существование усложнялась здесь еще рекой — по ее берегам пришли сюда такие лесные породы, которые и существуют на свете как-то так, между прочим, не имея определенного места жительства. Верба, ольха, смородина, черемуха и кусты жимолости забежали сюда только потому, что настоящих хозяев не было дома, а когда они вернутся — незваные гости будут выгнаны самым безжалостным образом. Даже по самой посадке видно, что эти пришлецы явились сюда только на время: кто присел у самой воды, кто распушился около пня, кто торопливо сосет корнями жалкий клочок хорошей земли. Видно, что все это делается как-

то зря, на скорую руку, да и не стоит серьезно хлопотать, потому что пройдет какихнибудь десять лет — и вся порубь зарастет ровным, крепким березняком, а все эти ольхи, вербы и прочая лесная мелочь уйдут искать нового места; по лесным опушкам, по мокрым лужкам настоящее место этих бродяг, а не в настоящем лесу, где идет вечная борьба между елями и березами. То же вот будет и с малиной, и с иван-чаем, и с теми сорными травами, которые разрослись на запустевшем жилье, — на их месте разрастается настоящая лесная трава и лесные цветы. А через несколько десятков лет ельник победит березу, и вы не узнаете даже места, где была когда-то порубь... Так совершается эта растительная жизнь, полная неустанной, вечной работы, и тот сказочный мир, где деревья говорят, ходят, радуются и плачут, — совсем не выдумка, а действительность, только нужно уметь понять мудреный язык этой немой природы.

Сидя на свалке, я совсем забыл об охоте. Мысли так и роились в голове, а вместе с тем душой овладело какое-то необыкновенно хо-

рошее и доброе чувство, точно начинаешь жить снова. Не помню, какой-то автор сравнил вечный говор моря с тем шепотом, каким русские бабы заговаривают кровь; по-моему, это сравнение идет больше к лесу... Именно здесь, в лесу, вы чувствуете, что в вас затихает и боль, и невзгоды, и заботы, сменяясь свежим и светлым чувством жизни.

Из этого забытья меня вывел голос Фомича, который умел подходить совершенно неслышными шагами, точно кошка.

— Что, хорошо? — спрашивал он, взбираясь тоже на свалку. — Параша умаялась и легла отдохнуть, а я не утерпел и побежал с ружьишком.

Заслонив глаза от солнца, Фомич долго всматривался в заросший прииск и задумчиво проговорил:

— Всю землю изрыли, как свиньи... А ничего, зарастет. Каждая травка свое место знает... да! Вон у меня через Размет сибирская травка в Расею перебирается. Ей-богу... Все по речке шла в гору-то, а теперь уж перевалила и под гору пошла. Вот она, премудрость-то, в чем... Мы вот умеем только рубить да ломать,

а она, трава-то, тоже поди чувствует по-своему: в ней тоже душа.

— И еще другая премудрость есть, — продолжал этот пантеист, вынимая табакерку: — зашел ты в лес — для тебя мертво все... И трава, и лес, и кусты — все мертво. Так я говорю? А это так кажется, потому что все со страхом затаилось от тебя — и козявка, и птица, и зверушка всякая. Ты, как чума, идешь по лесу-то... да! А вот, если ты этак где-нибудь затихнешь, — все и покажется, со всех сторон подымется разное живье. И у всякой-то твари свой уголок есть, и у всякой твари свой порядок, и все на своем месте. Даже это удивительно; что столько в лесу разного живья. Человеку вот тесно, друг друга едят, а тут как вода кипит: и червячок, и козявка,» мушка, и ящерица, и птица... Всякому свой предел. Тако... А вот человеку некуда деваться. Зачем?..

Этот странный разговор о захватывающей полноте непосредственной жизни природы открывал целое мирозерцание, гармоническое и цельное, которое всего труднее было бы подозревать именно в этом жалком дьячке, «последней спице в колеснице», как он

сам называл себя. Помню, какое сильное впечатление он произвел на меня именно этой цельностью. Великая жизнь природы раскрывалась в подавляющем величии, оттеняя все прорехи и зло специально человеческого существования; Фомич в этот момент являлся прозорливым поэтом, сливавшим свою мысль с дыханием самой жизни.

— А Параша-то сама ведь пришла в лес... — заговорил Фомич после долгой паузы, встряхнув головой. — И совсем другая в лесу-то, точно не она. Чувствует тоже... И говорит по-настоящему, точно вправду умная. Как-то вечером сидим у огня, гляжу, она плачет. Закрылась руками и плачет. «О чем, говорю, ревешь?» — «А так, говорит, стыдно мне...» Это она, значит, про то, как «Косарей» распевает да подол поднимает на голову, когда ее ребяташки женихами дразнят. Вот он какой, лес-то... Только не говорит, — да нет: говорит, свое говорит!..

Примечания

Лядунка — сумка для патронов.

[^^^]

Бланка — небольшой луг, равнина, прогалина.

[^^^]

Запон (устар.) — здесь — передник, фартук.

[^^^]